**Наталья Иванова**

**Пересекающиеся параллели Борис Пастернак и Анна Ахматова**

**Опубликовано в журнале:**[**«Знамя» 2001, №9**](http://magazines.russ.ru/znamia/2001/9/)

***критика***



*Наталья Иванова*

**Пересекающиеся параллелиБорис Пастернак и Анна Ахматова**

**1**

“...Она была довольно замкнутой и не была такой... нараспашку, каким был Пастернак. Это была полная его противоположность”1.

Вспоминал — и сравнивал — человек, хорошо (и по отдельности) с ними знакомый, Лев Горнунг, он же — автор замечательных фотопортретов, свидетельствующих о несомненно талантливой наблюдательности. Вспоминал и сравнивал Горнунг тогда, когда уже не было на свете ни Пастернака, ни Ахматовой — они удалились туда, где “таинственной лестницы взлет”, когда сравнение носит уже не земной, а более высокий характер. Итак, не просто — разные, а — “*полная противоположность*”.

В то же время в сознании, отзывающемся русской поэзии ХХ века, Пастернак и Ахматова существуют там же, где и Мандельштам, и Цветаева. “В России пишут четверо: я, Пастернак, Ахматова и П. Васильев”, — сказал в 1935-м С. Рудакову Мандельштам. “Нас мало, нас, может быть, четверо...” — четверка “горючих и адских” может располагаться каждым читателем по своему порядку, но в каноне русской поэзии ХХ века они стоят рядом. Рядом? “Благоуханная легенда” — так иронически охарактеризует Ахматова миф о себе и Цветаевой, например. То же самое — могла сказать и о Пастернаке.

Чем внимательнее вчитываешься в мемуары и свидетельства, а уж тем более в стихи, чем глубже всматриваешься в сюжет существования оставивших бесценное наследие поэтов, тем больше возникает вопросов не о сходстве — о различии. О разных стратегиях творческого и житейского поведения близких, сближенных в общепринятом, среднестатистическом читательском мнении поэтов. Почти по Лобачевскому: вроде бы и параллельные, но пересекаются. И наоборот: вроде бы пересекаются, но — параллельные. Независимые. Отдельные. И сентиментально-мелодраматическая картинка Ахматова — Мандельштам — Цветаева — Пастернак, представляющие собою некое над-индивидуальное целое (*вместе* *противостояли* известно чему), распадается на самостоятельные, с неровными, а иногда даже очень острыми краями образования. От утешительного мифа о *единстве* не остается и следа. В своих “Записных книжках. 1958–1966”, изданных Einaudi в 1996-м, Ахматова набросала предварительный план книги “Мои полвека”, где назвала главку о Пастернаке (внутри предполагаемой главы “Мои современники”) так: “Разгадка тайны”3. На самом деле тайна была в отношениях двух поэтов и восприятии ими друг друга, тайна, так и не ставшая прижизненной явью. Тайна, как можно увидеть сегодня, заключалась в том, что Ахматова упорно и глубоко думала о Пастернаке, а он — он лишь *снисходил*. Снисходил, громко восхищаясь.

Вот как в одно и то же историческое время оценивал в воронежских беседах с Сергеем Рудаковым Ахматову и Пастернака Мандельштам.

Об Ахматовой: “Она — плотоядная чайка, где исторические события — там слышится голос Ахматовой. И события — только гребень, верх волны: война, революция. Ровная и глубокая полоса жизни у нее стихов не дает...”.

О Пастернаке: “Человек здоровый, на все смотрит как на явления: вот — снег, погода, люди ходят...”4.

Да, и близки были духовно, а порою и душевно, и ценили, любили, поддерживали друг друга. Ахматова оплакала уход Пастернака: “Умолк вчера неповторимый голос...”. Все это так. Но вот вопросы, которые задавала уже в “хрущевское” время, после “Живаго”: “в те дни, когда ему было очень худо, но он еще не болел. Он был исключен. Он был уже только членом Литфонда”. Вспоминает М.В. Вольпин: “Значит, заговорили о Пастернаке, о горестной его судьбе, и вдруг она сказала: “Михаил Давидович, кто первый из нас написал революционную поэму? — Борис. Кто первый выступал на съезде с преданнейшей речью? — Борис. Кто первый сделал попытку восславить вождя? — Борис. Так за что же *ему* мученический венец?” — сказала она с завистью”. И дальше: “Кто первый из нас был послан вместе с Сурковым <...> представлять советскую поэзию за границей? — Борис!” — сказала она”5.

Вольпин и Дувакин, обсуждая эти вопросы Ахматовой, говорят и о “возвышенной зависти чужому несчастью”, что “не дана мелкому тщеславию”, а свидетельствует о “стремлении к хорошей, подлинной, настоящей, в высоком смысле слова, славе”, но главное — о *различии* между поэтами.

Попробуем разобраться.

**2**

Их появление на свет разделяет меньше года: Ахматова — “летняя” (родилась в Иванов день, в самый длинный день и самую короткую ночь в году, 23 июня 1889 г.), Пастернак — “зимний” (10 февраля 1890 г.). Оба родились не в блестящей столице: Пастернак — в Москве, Ахматова — в пригороде Одессы.

Пастернак родился в любящей, благополучной и творческой семье (и среде — его первые впечатления в родительском доме отложились на всю жизнь)6, Ахматова родилась в семье статского советника, бывшего морского офицера. Зато поэтическая слава и даже легенда пришли к Ахматовой раньше — еще до революции. Как справедливо утверждает биограф, “легенда была частью славы и сопровождала Ахматову с первых ее шагов на творческом пути”7. Задолго до известности *начинающего* Пастернака критика отметила особую силу стихов Ахматовой — В.М. Жирмунский в статье “Преодолевшие символизм” назвал ее “наиболее значительным поэтом молодого поколения” (“Русская мысль”, 1916, № 12). Ранняя Ахматова и сама для себя была, как мы бы нынче сказали, замечательным имиджмейкером. “Колдовской ребенок”. “Колдунья”. “Я обманно стыдлива”. “Я умею любить”. “Все мы бражники здесь, блудницы...” Слово, как известно, не воробей, — долетело и до Жданова со Сталиным. В 1923 году выходит первая монография о ее творчестве — книга Б.М. Эйхенбаума, в которой исследуются *ее же мотивы* — религиозного сознания и “бражников, блудниц”. И образ ветреной и богемной, обманутой и лукавящей красавицы, с которым Ахматова потом беспощадно боролась, выступая против мемуаров Г. Иванова и прочих, — выкован был сначала ею же самой. Хрупкую, мифологизированно-изнеженную, опасную, до головокружения оригинальную красоту послушно растиражировали художники — от Н. Альтмана с его знаменитым сине-желтым, изломанным по силуэту портретом, до Ю. Анненкова с графическим абрисом испаноподобной дамы. И даже Мандельштам, об отношении которого к обоим — в дальнейшем повествовании, назвал ее сначала “столпником паркета”.

Начавшая печататься на шесть лет раньше Пастернака, Ахматова сначала благодаря своему замужеству, но очень вскоре и благодаря нарастающей известности очень рано вошла в круг определявших лицо и уровень современной поэзии на блестящем и насыщенном артистическом фоне — от Блока до Вяч. Иванова (я уж не говорю о балете и опере, художниках, артистах и проч.) Пастернак, еще далекий от окончательного выбора возможного профессионального будущего (от философии до музыки) в 10-е годы находился в *кружке* Сердарды, а отнюдь не в *кругу* поэтов. Его потрясло, правда, знакомство с Маяковским в 1914-м. Пастернаковская тяга и близость к футуристам была противоположна по направлению ахматовской акмеистичности: так что и по поэтике, и по стилю поведения, и по создаваемому образу, и по стратегии жизни они не совпадали. Вот и говори после этого о единстве “поколения”!

Делать выводы о *творческом* *родстве*, исходя из даты рождения и принадлежности к одному поколению, никак не представляется возможным. Более того: если искать *оппонентов*, то они как раз внутри поколения и таятся.

Но, предвижу возражение, стихи Ахматовой, посвященные Пастернаку, свидетельствуют вовсе не об оппонировании!

За то, что дым сравнил с Лаокооном,

Кладбищенский воспел чертополох,

За то, что мир наполнил новым звоном

В пространстве новом отраженных строф, —

Он награжден каким-то вечным детством,

Той щедростью и зоркостью светил,

И вся земля была его наследством,

А он ее со всеми разделил.

Кстати, не могу не отметить *перекличку —* ответ—вопрос—ответ — Ахматовой самой с собою: на вопрос “*за что*?”, несколько раз повторенное Вольпину, отвечает, как это ни парадоксально, сама Ахматова из 1936-го: “*за то, что*”, тоже несколько раз повторенное. А его “мученический венец” перекликается с “вечным детством”, которым он (“*за то, что*”) “награжден”.

По свидетельствам (и по объективным данным), стихотворением 1936 года “Борис Пастернак” Ахматова прервала затянувшееся поэтическое молчание. Восторг и радость действительно образуют эмоциональную ауру этого стихотворения. Оно стало известным в черновике Пастернаку еще до публикации — ему не очень глянулось одно слово внутри: “чтоб не спугнуть / *лягушки* чуткий сон”. Лягушку Ахматова послушно убрала, заменила на *пространство*.

Но между этим стихотворением и дореволюционной славой в жизни Пастернака и жизни Ахматовой много чего произошло.

Революция пролегла *межевою вехою* (пользуюсь лексикой “Людей и положений” Пастернака) между многими и многими.

Ахматова и Пастернак были из тех, кто не уехал в эмиграцию. “Руками я замкнула слух”. Пастернак провел несколько месяцев 1921 года в Германии, но это была не эмиграция, а отъезд (уехали в эмиграцию родители, которых Пастернак провожал из Петрограда, стоя на пристани рядом с Ахматовой, провожавшей навсегда Артура Лурье).

Но слава, именно слава Пастернака началась *после* революций, февральской и октябрьской. Его отношение к революции было амбивалентным — он и приветствовал жар ее возможностей, и устрашался ее делам (“Русская революция”, 1919). Отношение к революции Ахматовой было гораздо более скептическим, без иллюзий, отрицательным без оттенков; она с самого начала разделила родину и революцию ледяною и непереступаемой чертой. Уже в конце 50-х Ахматова комментирует: “Б.П. примолк после гениальной книги лета 1917 (вышла в 1921), растил сына, читал толстые книги и писал свои 3 поэмы” (ЗК, с. 209). Пастернак “пишет худшее из всего, что он сделал” (ЗК, с. 311). Сурово. (Сурово будет позже сказано и о стихах из “Доктора Живаго” — “как в прорубь опустил” — ЗК, с. 297).

Отметим, что эпитет “гениальный” при этом постоянно присутствует — имя Пастернака возникает в “Записных книжках” множество раз. Ревнивая мысль-память о Пастернаке не покидала Ахматову никогда. А ревность — не к его поэзии, а к его славе и, как она говорила, к “ошибкам”. Пример: “Б.П. думал, что за границей интересуются только им одним. Это было одной из его ошибок” (ЗК, с. 540).

После революции Ахматова переживает начало трагических десятилетий своей жизни. Счастливая (после жизни с В. Шилейко) встреча с Н.Н. Пуниным в 30-х годах обрывается. Она замыкает “слух” и “голос” из-за полного отторжения от того, что происходит снаружи дома, — но и дома настоящего у нее, живущей рядом и вместе с “предыдущим” семейством Пунина, нет. В отличие от Пастернака, который нелегким, даже тяжелым, а иногда невыносимым трудом выстраивает дом, быт, жизнь. Организуя пространство вокруг себя.

Может быть, Пастернак был одарен не только даром детства, но и инстинктом дома? Во всяком случае, даже дров он добытчик, хотя бы и путем кражи.

Ахматова никогда *советской* не будет. Никогда не обеспокоится бытом, что бы ни творилось вокруг нее. Вот она лежит больная под одеялом, с распущенными по подушке волосами, — фотография 1924 года подарена Пастернаку с дружеской надписью. Вот другая, интимная фотография, сделанная Н.Н. Пуниным, — Ахматова только со сна, стоящая в ночной рубашке, среди кресел и картин, разбросанных предметов туалета, — а быта все равно нет! Не пристает. Вот воспоминания, проходящие через десятилетия, через всю жизнь — от “после революции” и до самого конца, — кто-то принес суп, кто-то блюдце с вареной морковкой и т.п. “Я был у нее на квартире, протопил печку, прибрал немного...” — это В. Гаршин, 4 декабря 1939 года. Разорванное кимоно — а ведь можно было зашить?8 Приготовить? Убрать? Обиходить? Нет — рисунок Модильяни да сундук; вот и все имущество; дом — на Ордынке — уже стал легендой: “здесь жила Ахматова”, да не жила она нигде, кроме Фонтанного дома, и, в сущности, там тоже не жила. Она — *останавливалась*. Лучше — хуже, счастливее — несчастнее, но настоящего дома не заводила. Это сравнимо отчасти с нежеланием Набокова купить, организовать, обиходить свой собственный дом — квартиру — убежище: потерявши родительский дом на Большой Морской, он ничего уже подобного утерянному иметь не мог, а посему — отказывался от замены. Отказывалась — правда, и позволить себе не могла того, что хотела бы, потому и не хотела — и Ахматова.

У Пастернака мотив дома — мотив жизнестроительный, творческий, наиважнейший — проходит через долгие годы: я уже имела возможность об этом сказать в статье “Квартирный вопрос” (“Знамя”, 1995, № 10). Сюжетом той статьи было сравнение *домовитости* Пастернака, образа дома-квартиры в его поэзии и письмах с *безбытностью* Мандельштама. Но у Мандельштама была Надежда Яковлевна — вечное “ты”, движитель хотя бы и мизерного жизнеобеспечения (“Мы с тобой на кухне посидим”); у Ахматовой и этого быть не могло, хотя и Пунин старался, и Гаршин судки приносил. Десятилетия жизни связаны с нарастающим ощущением отчаяния, несмотря на сравнительно счастливые, повторяю, годы с Пуниным.

У Ахматовой — “навсегда опустошенный дом” (“Многим”, 1922), какие бы фотоснимки ни достались потомкам:

Как хочет тень от тела отделиться,

Как хочет плоть с душою разлучиться,

Так я хочу теперь забытой быть.

Совсем иное — у Пастернака: его *дом* от начала и до конца был осмыслен, освещен, освящен и обыгран — от “каморки с красным померанцем” в Лебяжьем переулке до терраски с “огневой кожурой абажура” в Измалкове, обихоженной О. Ивинской. Я вовсе не имею в виду никакого роскошества — но уют и комфорт, стабильность домашнего обихода высоко ценились Пастернаком. “Перегородок тонкоребрость” — это плохо, хотя и поэтично; “я комнату брата займу” — мечта, которую следует перевести в реальность, посему поэт пишет письмо с просьбой посодействовать помощнику Горького Крючкову...

В очерке “Люди и положения”, в абзаце, посвященном первому — 1915 года — впечатлению от стихов Ахматовой (оскорбленной позже тем, что он мало что спутал название сборника, а еще и посвятил другим поэтам не абзац, а целые страницы) Пастернак пишет о том, что он тогда позавидовал “автору, сумевшему такими простыми средствами удержать частицы действительности, в них занесенные”. Их знакомство относится к 1922 году — в письме Цветаевой он отмечает редкую “чистоту внимания” Ахматовой: “она напоминает мне сестру”. *Сестра* — ключевое для Пастернака слово: кроме названия книги, он одарял “сестрой” (“ты такая сестра мне — жизнь”) Цветаеву в разгаре их возвышенного, но чрезвычайно страстного эпистолярного романа. И в длинной, похожей на цельное эссе (равной по длине его же выступлению на Антифашистском конгрессе в Париже) надписи Ахматовой на книге, вышедшей в 1922-м (“Сестра моя — жизнь”), авторские экземпляры которой он выборочно подарил нескольким поэтам (Маяковскому, Асееву, Брюсову, Кузмину, Мандельштаму), Пастернак опять отмечает их близость: 1) “поэту — товарищу по несчастью”, 2) “дичливой, отроческой, и менее чем наполовину использованной впечатлительности”, 3) “жертве критики, не умеющей чувствовать и пытающейся быть сочувственной”, 4) “жертве <...> итогов и схем” — “с любовью от человека, который все силы свои положит на то, чтобы изгнать отвратительное слово “мастер” из прижизненной обстановки...”9

(Отметим *вражду* Пастернака к слову *мастер* в непосредственной близости с ключевым словом автографа — *жертва*.)

Надпись для Ахматовой, видимо, Пастернак считал особенно важной и значимой и поэтому подробно разъяснил ее еще раз в письме Юркуну: “Но я считаю родными себе тех людей, самый расцвет впечатлительности и способности выраженья коих совпал с началом войны”. Пастернак — против аксиомы, что такая поэзия принадлежит “дореволюционности”, “символизму, акмеизму, буржуазности” и проч. Он не хотел показаться Ахматовой “фамильярно-панибратствующим”, но утвердил свое поэтическое родство и обосновал человеческую солидарность.

Удаленность поэтики акмеистки от “футуриста” не мешает последнему испытывать радость от стихов первой. Чем дальше в 20-е, тем больше понимания — сближает их еще и появившийся в жизни Ахматовой Пунин. Сфера его интересов в искусстве ближе к интересам Пастернака и его круга. Пунин активно участвует в строительстве *нового* искусства, являясь его непосредственным организатором и интерпретатором.

В 1926-м, после приезда Ахматовой с Пуниным в Москву, Пастернак в письме И. Груздеву характеризует ее так: “изумительный поэт, человек вне всякого описанья, молода, вполне своя, наша, блистающий глаз нашего поколения”; и еще: “явленье это так чудесно в своей красоте и стройности”10. Ахматова дарит ему свою фотокарточку — Пастернак отвечает сердечным письмом. А сама Ахматова, которая, как известно, терпеть не могла писать писем (за исключением, как открылось в наши дни, одного адресата — Н.Н. Пунина), Пастернаку не пишет, зато описывает природу по Пастернаку в письме 27 мая 1927 года Пунину: “День студеный и ненастный, льет дождь. Липы, что перед окном, еще совсем черны, клены чуть зазеленели, и весь сад мечется под ветром, как в стихах Пастернака”11.

Пастернак первым посвятил Ахматовой стихи — в 1929 году, в “серии” стихов друзьям: Мейерхольдам, Цветаевой, Пильняку и т.д. Послав текст, он *трижды* просит ее о разрешении на публикацию. Ахматова молчит и откликается в конце концов лишь телеграммой с указанием причины молчания — болезни.

Думаю, что явная затяжка с ответом вызвана у Ахматовой противопоставлением в пастернаковском стихотворении Ахматовой *ранней* (с положительной оценкой) Ахматовой более поздней (с отрицанием — “не”), т.е. того самого периода, когда после публикации “Новогоднего” и “Лотовой жены” в “Русском современнике” (1924, № 1) последовало, как считала Ахматова, *первое* (тогда — негласное) распоряжение ЦК о запрете на ее стихи.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.

Он мне внушен *не тем* столбом из соли,

Которым вы пять лет тому назад

Испуг оглядки к рифме прикололи,

Но, исходив *от ваших первых книг*,

Где крепли прозы пристальной крупицы,

Он и сейчас, как искры проводник,

Событья былью заставляет биться.

 (Курсив мой. — *Н.И.*)

Но — любовь братская, но — помощь, но — взаимопонимание!

Безусловно.

И — книги в дар, и — фото в дар, и — встречи у общих знакомых и друзей, и — даже внезапное, после поездки в Париж, предложение Ахматовой — руки и сердца, хотя Зинаида Николаевна вполне еще правила домом и бытом. И даже балом.

**3**

Ахматовой, кстати, не понравился выбор Бориса Леонидовича. Книгу “Второе рождение”, вдохновленную новым чувством и написанную по обещанию Зинаиде Николаевне, она назовет пренебрежительно “жениховской”. Однако в 1936-м она воспевает своего (и совсем не “жениховского”, а детского, радостно крепкого) Пастернака — “Он, сам себя сравнивший с конским глазом / Косится, смотрит, видит, узнает”. От его взгляда меняется природа — “И вот уже расплавленным алмазом / сияют лужи, изнывает лед”. Все глаголы этого стихотворения — позитивные. Герой-поэт так связан с природой, что “Пугливо пробирается по хвоям, / чтоб не спугнуть пространства чуткий сон” (*лягушка* была все-таки лучше. — *Н.И.*).

Вопрос: когда было написано это стихотворение — очень важен. 1 января 1936 года в “Известиях” были напечатаны те самые стихи (“Мне по душе строптивый норов...”), о которых позже Ахматова задает один из своих самых гневных риторических вопросов: “Кто первый сделал попытку восславить вождя?”. Вот она, эта *попытка*, в “Известиях” — и вот явный ответ, реплика Ахматовой на эти стихи. Реплика — не ироническая, не яростная, не гневная, напротив. Смысл ее прост: *ребенок*, “вечным детством” награжденный, вот кто такой Борис Пастернак. Не надо предъявлять ему претензий, ставить ему в укор его “сталинские” стихи — он награжден “щедростью и зоркостью” светил, чуток к “лягушке”, а его попытка диалога с вождем — детская. И — простительная: в 1935-м он “чудесным образом” способствовал освобождению Пунина и Л. Гумилева, написав письмо Сталину. Его “революционные” поэмы искупаются еще наивностью и простодушием. У нее, у Ахматовой, — другая миссия:

Одни глядятся в ласковые взоры,

Другие пьют до солнечных лучей,

А я всю ночь веду переговоры

С неукротимой совестью моей.

Пастернак звал “вперед, не трепеща, и утешаясь параллелью”, одобряя “правопорядок”, Ахматова в те же годы пишет стихи, сложившиеся в “Реквием”. “Уводили тебя на рассвете” и кончается так, как в жизни, когда она отвозила письмо Енукидзе в Кутафью башню. Письмо-слезницу, где она *ручалась* за арестованных близких:

Буду я, как кремлевские женки,

Под кремлевскими башнями выть.

 (осень 1935)

Пастернак пишет в декабре 1935-го Сталину еще одно, особое письмо. Благодаря вождя за освобождение Пунина и Гумилева, Пастернак заканчивает словами “любящий” и “преданный”. Ахматова — в те же годы пророчит истинному поэту совсем иную судьбу:

 ...Без палача и плахи

Поэту на земле не быть.

Нам покаянные рубахи,

Нам со свечой идти и выть.

Ахматова позже зафиксирует еще одно, очень важное различие между собою и Пастернаком: “Я сейчас поняла в Пастернаке самое страшное: он никогда ничего не вспоминает” (ЗК, с. 188).

К 1939 году Ахматова, несмотря на некоторое продвижение дел, считает, что ее избегают как чумную. “Боятся с ней видеться” — в том числе и Пастернак: “Сегодня Зина уже не пустила его ко мне, — говорит она Л. Чуковской о Борисе Леонидовиче (I, 22). Но различие их поэтик лежало еще глубже, чем различие творческого и жизненного поведения. Характерен ее комментарий к “дурацкому” читательскому письму лета 1939 года, противопоставляющему ее “простоту” пресловутой “сложности” Пастернака: противопоставление она не оспаривает, она оспаривает *непонимание* сложности происхождения самой этой простоты: “Они воображают, что и Пушкин писал просто и что они все понимают в его стихах” (I, 31).

У Ахматовой к концу 30-х складывается впечатление, что Пастернак почти не знает ее стихов. Выслушав “Реквием” в 39-м — “Теперь и умереть не страшно...” Но что за прелестный человек!” (I, 59).

Лидия Чуковская в разговоре утверждает, что “поэты очень похожи на свои стихи. Например, Борис Леонидович. Когда слышишь, как он говорит, понимаешь совершенную естественность, непридуманность его стихов. Они — естественное продолжение его мысли и речи” — и Ахматова, постоянно внутренне себя с Пастернаком сопоставлявшая и противопоставлявшая себя ему, категорически не хочет, в отличие от Пастернака, быть на стихи свои похожей: “Это нехорошо, если так. Препротивно, если так” (I, 77). Для Ахматовой всегда важна реакция Пастернака, она ее отмечает особо: “...а Борису Леонидовичу не понравилось. Он не сказал этого, но я догадалась” (I, 98).

**4**

Невозможно себе представить Ахматову, приглашенную Сталиным или Троцким для встречи и обмена мнениями — а Пастернак и в “кремлевские” коридоры, например, в “салон” к О.Д. Каменевой (конец 20-х) был вхож.

Невозможно представить себе Ахматову, сочиняющую поэму о первой русской революции. А Пастернак — собирая материалы, сочинял, относясь к этой задаче прагматично и даже отчасти цинически, как к добыванию средств, необходимых для существования.

Невозможно представить себе Ахматову в коллективной командировке на стройку, скажем, на Урал или на Магнитку, — а Пастернак ездил.

Невозможно представить себе Ахматову в президиуме первого съезда союза писателей, рядом с Горьким; принимающей в дар писателям портрет Сталина, — а Пастернак принял и горячо благодарил.

Однако Ахматова к Пастернаку не всегда была справедлива. Обвиняла порой в грехах несуществующих — так, его выступление на съезде было совсем не “преданнейшей речью”, как она заклеймила ее. “Не отрывайтесь от масс, — говорит в таких случаях партия. Я ничем не завоевал права пользоваться ее выражениями. *Не жертвуйте лицом ради положения*, — скажу я в совершенно том же, как она, смысле <...> слишком велика опасность стать литературным сановником. *Подальше от этой ласки* во имя ее источников...” (курсив мой. — *Н.И.*). Но закончил ее Пастернак действительно выражением “большой, и дельной, и плодотворной любви к родине и нынешним величайшим людям”. “Продолжительные аплодисменты” все-таки достались ему не даром: после доклада Бухарина, где он был вознесен на вершину “первого поэта”, после злобной критики своих “коллег” Пастернак выступил политически очень точно: он ни словом не намекнул ни на лестное предположение Бухарина, ни на злобу сотоварищей, ни на свое положение. Он обратил свой взор к “нынешним величайшим людям”, т.е. к Сталину, избранному им в единственные защитники.

Конечно, в стратегии Пастернака было опасное политическое лукавство — то лукавство, на которое Ахматова не была способна. Пастернак мог сам себя уговорить, убедить в своей искренности. Ахматова — не могла. Он отступал постепенно, каждый раз оставляя себе особую территорию, которую потом, позже, тоже приходилось оставлять, опять уговаривая себя самого.

Самообман — вот что было свойственно Пастернаку.

Особая трезвость взгляда — свойство политического зрения Ахматовой (хотя и она порой обманывалась).

Модель поведения Пастернака при Сталине не была прямолинейной. Пастернак выстраивал с властью “компромиссные отношения”12.

Но Пастернак еще и хотел осуществить примирение в истории.

Поиск компромисса был для Пастернака существенным и принципиально важным в его работе над “1905-м”, например. В письме К.А. Федину от 6 декабря 1928 года он объясняет, что пошел “на эту относительную пошлятину <...> сознательно из добровольной идеальной сделки со временем. Мне хотелось втереть очки себе самому (сознательный самообман. — *Н.И.*) и читателю <...> Мне хотелось дать в неразрывно сосватанном виде то, что не только поссорено у нас, но ссора чего возведена чуть ли не в главную заслугу эпохи”. Компромисс по Пастернаку — это не конформизм, а дипломатия, ведущая к консенсусу: “Мне хотелось связать то, что ославлено и осмеяно (и прирожденно-дорого мне), с тем, что мне чуждо для того, чтобы, поклоняясь своим догматам, современник был вынужден, того не замечая, принять и мои идеалы”. Стремление настоящего искусства современности — “*замирить* память хотя бы, если до сих пор нельзя замирить сторон, и как бы *склонить факты за их изображеньем* к полюбовной”.

Необходимость самоограничения в самом проявлении своего дара (добровольная самоцензура), как власяница, тоже принимается Пастернаком и обосновывается им в ряде писем, в том числе и в том же письме Федину: “Мне казалось, что если Вы, как все мы, или многие из нас, добровольно ограничили свой живописующий дар, свою остроту и разность, свою частную судьбу в эпоху, стершую частности и заставившую нас жить не непреложными кругами и группами, а полуреальным хаосом однородной смеси, то подобно *очень немногим* из нас, и, может быть, лучше и выше всей этой небольшой горсти, Вы это (все равно вынужденное) самоограниченье нравственно осмыслили и оправдали”13. Если вспомнить, что адресат письма закрыл шторой окно, чтобы не видеть похорон его автора, то становится наглядным, к каким последствиям это “добровольное самоограничение”, этот поиск компромисса могли привести и приводили.

Алгоритм компромиссного поведения определяется как “примирение — резервирование”: “Примиряясь с революцией, интеллигенция сначала резервировала за собой право критически относиться к некоторым ее сторонам, например, к политике власти в отношении интеллигенции. Затем, примиряясь с этой политикой, она резервировала за собой скептическое отношение к установлению некоторых нравственных норм”14. И так далее — “сдача и гибель советского интеллигента”, по афористичному названию знаменитой и не совсем справедливой книги А. Белинкова о Юрии Олеше.

Модель поведения Пастернака была более сложной — именно в силу сочетания самоуговаривания и самообмана с искренностью и безусловным сохранением собственного достоинства. Результатом компромиссного поведения было все-таки сохранение собственной жизни. Пастернак ведь был совершенно искренним в разговоре со Сталиным о Мандельштаме, когда сказал, что вообще “не в нем только дело”, что у них разная поэтика, и надо бы лучше поговорить “о жизни и смерти” — тут даже тиран не выдержал и в ответ на такое искреннее (возможно, подсознательное) лукавство оборвал беседу, повесив трубку. Укорив — “мы лучше защищали своих товарищей”15. Искренен Пастернак и в открытом выражении любви “к величайшим людям”, и в интимном — “любящий и преданный” в подписи к письму Сталину декабря 1935 года. Совершенно искренне он уговаривает Ахматову в 1934-м вступить в Союз писателей, искренне аргументируя свое предложение. (Напомню, что Ахматова демонстративно вышла из СП после исключения Б. Пильняка и Е. Замятина в 1929 году. Именно тогда, кстати, Пастернак и написал ей стихи.) Дело происходит в купе вагона поезда “Москва—Ленинград”. Провожающий Ахматову и Э. Герштейн Пастернак появляется из вокзального буфета с бутылкой вина. “Борис Леонидович заводит щекотливый разговор. Он уговаривает Ахматову вступить в Союз писателей. Она загадочно молчит. Он расписывает, какую пользу можно принести, участвуя в общественной жизни. Вот его пригласили на редколлегию “Известий”, он заседал рядом с Карлом Радеком, к его словам прислушиваются, он может сделать что­нибудь доброе... Анна Андреевна постукивает пальцами по своему чемоданчику, иногда многозначительно, почти демонстративно взглядывает на меня и ничего не отвечает...”

Э. Герштейн, нарисовавшая эту выразительную картину в своих воспоминаниях, говорит о том, что Пастернак даже со своей *непонятностью* и *камерностью* в конце 20­х становился все более *модным*. Ахматова, напротив, чем глубже в советское время, тем больше утрачивала *модность*, характерную для ее фигуры в 10­е годы. Недаром Зинаида Николаевна в свое время отчеканила: Борис Леонидович “советский поэт”, а Ахматова вся “нафталином пропахла”. Зинаида Николаевна не одобряла ни общения, ни визитов. В августе 40­го, когда Ахматова посетила Переделкино, надолго она у Пастернака не задержалась. Он был среди победителей, она — среди неудачников. Он — наращивал: публикации, книги, переводы, славу, рецензии и обширные, с продолжением и портретом, статьи в периодике; дом, квартиру, дачу... Жизнь его становилась лучше, зажиточнее, интереснее, полнее, постоянно продвигалась, сложности были, но чаще всего — *личного* свойства. Жизнь Ахматовой — сжималась, ухудшалась, книги не выходили, стихи не сочинялись, одежда ветшала, молодость и красота уходили. Вот осень 1935­го: “Она вышла в синем плаще и в своем фетровом колпаке, из­под него выбились и развевались длинные пряди волос. Она смотрела по сторонам невидящими глазами. <...> Она ставила ногу и пятилась назад. Я ее тянула. Машина приближалась. Рядом с шофером сидел человек в кожаной куртке. Они заметили нас и, казалось, посмеивались. Поровнявшись с нами, человек в кожаной куртке вглядывался в эту странную фигуру, похожую на подстреленную птицу, и... узнавал, узнавал, жалея, ужасаясь. Вот эта безумная мечущаяся нищая — знаменитая Ахматова?”16

И тем не менее — восходящий и нисходящий потоки славы и успеха имели свои точки пересечения, тем более — у двух замечательных поэтов, по действительному гамбургскому счету понимавших величину и значение друг друга, вне всякой славы, вне всякой моды. Стратегия и тактика поведения были разными — понимание многих вещей было одинаковым. Пастернак говорил о терроре, что это “иррационально, как судьба”, — Ахматова так же комментировала деятельность *Петра Иваныча*: “Это как бубонная чума <...> Ты еще жалеешь соседа по квартире, а уже сама катишь в М<агадан>” (I, 110). Ахматова “выбранила “Второе рождение” (I, 114), обнаружив там “множество пренеприятных стихотворений”. “Их писал растерявшийся жених... А какие неприятные стихи к бывшей жене!” (I, 155). Пастернаку (она говорит об этом с огорчением) явно не понравилось “Путем всея земли” (I, 111). Ахматова не любит “Спекторского” (“Это неудачная вещь” — I, 149). Подозревает, что он в 1940­м “просто впервые читает мои стихи. Уверяю вас. Когда я начинала, он был в Центрифуге, ко мне, конечно, относился враждебно <...> Теперь прочел впервые и, видите ли, совершил открытие: ему сильно понравилось “Перо задело о верх экипажа...” Дорогой, наивный, обожаемый Борис Леонидович!” (I, 170).

С 1937 года на Пастернака идут постоянные доносы: из ЦК ВКП(б) — “фактически не подписал требования о расстреле контрреволюционных террористов17, в “настроениях “переделкинцев”, где живут Пильняк и Пастернак, много чуждого и наносного”18. “В Грузии все было передоверено Пастернаку и Мирскому, тесно связанным с группой шпиона Яшвили”19. Я уж не говорю об открытой печати, пленумах, собраниях и т.д. Но Пастернак с его стратегией “компромиссного поведения” находится в дружеских отношениях с Фадеевым, с “головкой” союза писателей — и *выдвигает* вместе с Фадеевым Ахматову на Сталинскую премию — в 1940­м, после выхода так восторженно им принятой книги Ахматовой, над изданием которой витает легенда о сталинском благоволении (он увидел, что Светлана читает листки Ахматовой; ему понравилось самому; почему *нэт* книги и т.д.). Никакой премии, конечно же, она не получила.

Вместо *Сталинской премии* последовала “Докладная записка управляющего делами ЦК ВКП(б) Д.В. Крупина А.А.  Жданову “О сборнике стихов Анны Ахматовой”.

“Стихотворений с революционной и советской тематикой, о людях социализма в сборнике нет”.

“Издатели не разобрались в стихах Ахматовой...”

“Два источника рождают стихотворный сор Ахматовой, и им посвящена ее “поэзия”: бог и “свободная” любовь, а “художественные образы” для этого заимствуются из церковной литературы...”

Вывод: “Необходимо изъять из распространения стихотворения Ахматовой”.

Публикаторы документа цитируют и следующую резолюцию на первом листе докладной: “Просто позор <...> Как этот Ахматовский “блуд с молитвой во славу божию” мог появиться на свет? Кто его продвинул? Какова также позиция Главлита? Выясните и внесите предложения. Жданов”20.

Спустя месяц следует исторически первое “Постановление Секретариата ЦК ВКП(б) о сборнике стихов А.А. Ахматовой “Из шести книг”: констатируется, что издан сборник “идеологически вредных, религиозно-мистических стихов Ахматовой”; “за беспечность” объявляется выговор 1) директору Ленинградского отделения издательства “Советский писатель”, 2) директору издательства и даже 3) политредактору Главлита21. Л.К. Чуковская справедливо пишет, что Постановление ЦК 1940 года явилось прообразом рокового постановления 46-го”, но возникает вопрос: откуда в 1940-м такое пристальное внимание к Ахматовой? Не *выдвижение* ли тому поспособствовало?

Запечатлевшая в стихах пастернаковскую вечную “детскость”, Ахматова и относилась к этому как к инфантилизму; рассказывая о Пастернаке, она, например, в 1952-м, когда любовная история с Ивинской стала более чем известной, совмещала “восхищение” с “нежной насмешкой” (II, 47). При этом Ахматова безусловно любила и поддерживала благодарные отношения с Пастернаком — а он всячески поддерживал ее материально (“человек благородный, добрый, помогает многим, ссыльным и нессыльным” — II, 66). Отметила его в 1948-м четверостишием:

Я всем прощение дарую...

И в Воскресение Христа

Меня предавших в лоб целую,

А не предавшего — в уста.

“Борис Леонидович был человек редкостно добрый и изо всех сил старался тогда меня утешить. Вы помните эти годы” (III, 76).

Различие между ними коренилось в том числе и в отношении к языку. Пастернак, Мандельштам, Цветаева “создали свой язык, каждый свой и на нем писали. А вы своего языка не создали, ваши стихи написаны просто на русском”. Это наблюдение польского специалиста по акмеизму Ахматова подтвердила с удовлетворением. И все же — насмешка, а иногда и не нежная, ее уст не покидала: слишком разнился сам *образ жизни*. Ахматова в клетушке у Ардовых, наездами, — “Борис Леонидович... звал на понедельник к ним <...> “От этого дня зависит, стоит ли жить!” Это означает: чтение романа, ведра шампанского, икра, актеры... Я не пошла” (II, 76).

Ведущим пастернаковским мотивом у послевоенной Ахматовой становится “обожаю, но...”.

Оговорки, оговорки и еще раз оговорки:

“Я обожаю этого человека <...> Правда, он несносен. Примчался вчера объяснять мне, что он ничтожество” (II, 87).

“Жаль его! Большой человек — и так страдает от тщеславия” (II, 96).

В мае 1954-го:

“Разлучить Пастернака с читателями — это, разумеется, преступление, — сказала Анна Андреевна, — но он-то почему не умеет извлечь из этой разлуки новую силу?” (II, 97).

В словах Ахматовой, как правило, слышен явный или неявный, открытый или скрытый упрек. Она не разделяет пристрастий и привычек Пастернака. Она не то чтобы осуждает — сожалеет о его окружении. Она снисходительна. Она строга. Она величава:

“Видела я Бориса Леонидовича. Грустно. Он стареет и даже как-то дряхлеет. Выглядит очень дурно. Кончает роман. После такой напряженной работы нужна отдача — а будет ли она? Страшная у него жизнь. Представьте себе, он не слыхал до сих пор о смерти Лозинского! Где же он живет, кого видит? Наверное, одного Ливанова” (май 1955, II, 116).

Июнь 1955-го, Ахматова приезжает в Переделкино, заходит с Л.К. Чуковской на дачу к Пастернаку — отвечает издалека, от крыльца, какая-то женщина: “Нет никого!” Ахматова: “А вы поняли, надеюсь, что Борис Леонидович и Зина были дома, когда мы пришли? <...> Ну нельзя же быть такой простодушной! Оба дома, уверяю вас. Ну конечно же! И он и Зина. Просто не захотели принять нас” (II, 136). Чуковскую порой ставит в тупик ахматовская несправедливая строгость — в “Записках” она пытается как-то объяснить, перетолковать, проинтерпретировать несправедливую Ахматову. “Седой венец достался мне недаром” — а ему, Пастернаку, мученический? После всех его “компромиссных” стратегий? Даром! И это, считает Ахматова, — главная несправедливость.

При этом не надо упускать из виду, что слава Ахматовой начинает опять стремительно расти, что с ее приездами в Москву в квартире Ардовых начинается столпотворение поклонников, “Ахматовка” (пастернаковское, между прочим, слово). Возрастает и слава, и ехидство Ахматовой:

“Да, — сказала Анна Андреевна, — вот это Борис. “Мело, мело по всей земле / Во все пределы”. Конечно, русская метель теперь навеки пастернаковская, но о ней писали Пушкин и Блок, а вот так ответить насчет Жени22 — это может один только Борис Леонидович. Это самый что ни на есть пастернаковский Пастернак. “Вы стали похожи на Женю. — “А разве Женя красивый?” Я расскажу это Ниночке23. И до станции вас не проводил с чемоданом” (январь 1956 — II, 181). Нет снисхождения, нет жалости и нежности, есть ирония. Порой даже злая: “Нет, нет, ничто чужое его не интересует. Это не Осип24, который носился по городу с каждой чужой строкой, как собака с костью. Этот ничего чужого не может услышать” (январь 1956 — II, 182).

Равнодушие к “чужому”, вызванное особым поэтическим эгоцентризмом Пастернака, порождает у Ахматовой все усиливающееся раздражение. На раздражение Ахматовой собеседница реагирует с болью: “Я нуждаюсь в том, чтобы они друг друга любили” (II, 224). Ахматова не прощает Пастернаку “ослепительной” внешности — “синий пиджак, белые брюки, густая седина, лицо тонкое, никаких отеков, и прекрасно сделанная челюсть”. К тому же — “написал новых 15 стихотворений”. Раньше “прибегал ко мне с каждым новым четверостишием”, теперь дружба кончилась, поскольку сам Пастернак небрежен к ее стихам — “Я послала ему свою книжку с надписью: “Первому поэту России”. Подарила экземпляр “Поэмы”... Он сказал мне: “У меня куда-то пропало, кто-то взял...” Вот и весь отзыв” (II, 224). Известно, как бережно и внимательно Ахматова относилась к “отзывам”: собирала — письменные! — в шкатулку; долго и внимательно обсуждала устные, расспрашивала подробно и досконально. Такая реакция — реакция отсутствия реакции — привела ее в бешенство.

И она осуждает все: и стихи (“На июльском воздухе нынче далеко не уедешь” — II, 230), и одежду, и лицо, и мысли. И жену. И друзей. И дом. И Ольгу. Просто все. “Анна Андреевна рассказала нам о блестящем светском собрании на даче: до обеда Рихтер, после обеда — Юдина, потом читал стихи хозяин.

— Недурно, — сказала я.

— А я там очень устала <...> Мне там было неприятно, тяжко. Устала от непонятности его отношений с женою <...> никак было не догадаться: кто здесь сегодня стучит?” (II, 233).

В “Записках” Л.К. Чуковской находится множество свидетельств неприязненного раздражения. “Совсем провалился в себя. Не видит уже никого и ничего” (II, 234). Пышность жизни, воспеваемая им в стихах, представляется Ахматовой оскорбительной — “Жаль только, что осуждение стихов идет у нее рядом с личной обидой”, подмечает Л.К. Чуковская (II, 268). Ахматова безусловно оскорблена тем, что в своем новом “Предисловии” (имеется в виду очерк “Люди и положения”) Ахматовой посвящен всего один “сбивчивый” абзац, а о Цветаевой — целые страницы!

Кстати: при встрече Ахматовой с Цветаевой у Н.И. Харджиева в 1940-м они говорили и о Пастернаке. И *ехидство*, вполне человеческое, пролилось тогда из уст Цветаевой, спародировавшей сценку в Париже — Пастернак выбирает платье для Зинаиды Николаевны...

Нет, ни по-женски, ни по-поэтически, ни по-общечеловечески, ни исторически ни Цветаева, пережившая бурное увлечение Пастернаком, ни Ахматова ему не прощали ничего, никаких слабостей.

А когда появился для чтения роман, Ахматова не приняла его совсем: “Встречаются страницы совершенно непрофессиональные. Полагаю, их писала Ольга” (II, 271); “Неудавшийся шедевр” (II, 279), “Это похоже на ремарки в плохой пьесе” (II, 335); “Люди неживые, выдуманные. Одна природа живая25. Доктор Живаго незаслуженно носит эту фамилию. Он тоже безжизненный” (II, 273). Осуждая роман, осуждает и бытовое поведение автора: “Когда пишешь то, что написал Пастернак, не следует претендовать на отдельную палату в больнице ЦК партии” (II, 276). Только травля и настоящий психологический террор вокруг него останавливают ее, возвращают ее голосу и реакциям — постепенно — былое сочувствие и объективность, а потом — нежность и жалость. Сначала, правда, — “хотя и с одобрением, но суховато и вне эмоций” (II, 330).

Хотя — и скажет: “А ведь по сравнению с тем, что делали со мною и с Зощенко, история Бориса — бой бабочек!” (II, 341). И еще: “Прекрасный человек и поэт божественный. Но притом явно городской сумасшедший” (II, 351).

История с “Доктором Живаго” все же не исчерпала напряжения, несмотря на то, что Ахматова явно смягчила свое отношение к Пастернаку. Но пикировка не прекращалась. Причем со стороны Пастернака, допускаю вполне, так называемые *колкости* возникали непредумышленно и случайно, но обида Ахматовой оттого не была меньше.

На тридцатилетии Вяч.Вс. Иванова 21 августа 1959 года в Переделкине Пастернака хотели усадить рядом с Ахматовой, но он решительно этому воспротивился. Их усадили напротив друг друга. Ахматову попросили прочитать стихи, она прочла в том числе и “Я к розам хочу...”. И рассказала, что у нее попросили стихи для “Правды”, но им не подошло. “Пастернак в ответ прогудел: “Ну, вы бы еще захотели, чтобы “Правда” вышла с оборочками”26. Такого оскорбления Ахматова снести не могла. Возникло, по наблюдению присутствовавшего там же М.К. Поливанова, разрушившее праздничность стола “напряжение между этими двумя центрами. И весь стол, казалось, принимал участие в скрытом психологическом поединке”27. Кстати, у Поливанова слова Пастернака о “Правде” со стихотворением Ахматовой звучат иначе: “надо было бы, чтобы она его напечатала на розовой страничке”.

Ахматова в 1959-м была уже грузной, седой, с шалью на полных плечах, неповоротливой. А Пастернак — моложавым, крепким, с любовницей за углом дороги, — наутро Поливанов увидел, как он быстрой, торопливой походкой энергично направляется с полотенцем в летний душ.

**4**

Пастернак умер, не выдержав страшного напряжения и стресса последних лет. Любимец природы, женщин, читателей не выдержал яростной ненависти, обрушившейся на него. Он умер в “оттепель”, тогда, когда сталинщина уже отошла в прошлое. Опасностей сталинской эпохи он изобретательно избег — новой стратегией и новой тактикой поведения в “хрущевское” время он не обладал, терялся, не понимал, что можно и чего нельзя, где опасность, где угроза. Защиты *свыше* никакой не было — да он и не смог бы сам писать откровенно “свиноподобным”. Он их презирал, — в отличие от Сталина, к которому относился с “любовью” и “преданностью”, не исключавшим страха и даже ужаса. Сын, Евгений Борисович, вспоминает его возмущение поведением Хрущева: “...даже Сталин считал не ниже своего достоинства исполнять мои просьбы о заступничестве за арестованных, но куда им до нынешних и до их величия”28.

К Ахматовой, наоборот, все вернулось в “хрущевское” время — сын, книги, публичность, внимание, молодежь, “поклонники”, царственность и новая, особая красота. В этом “новом” времени она не побоялась и возможной “живагоподобной”29 грозы из-за публикации за рубежом “Реквиема” (“Реквием” вышел в Мюнхене в 1963-м, никакой грозы не последовало).

После смерти Пастернака Ахматова позировала Зое Масленниковой — ей понравилась ее лепка “головы” Пастернака, и ей хотелось быть увековеченной теми же руками. Ахматовой вообще нравилось то, что не очень нравилось Зинаиде Николаевне, и наоборот: здесь *образы* *жизни* категорически не совпадали и вызывали взаимное раздражение. Ахматова исключительно дружески относилась к первой жене Пастернака, Евгении Владимировне — той самой *Жене*, вместе с которой Пастернак пришел в питерскую “Звучащую раковину” в 1922-м (тогда они познакомились с Ахматовой). И когда началась война и речь зашла об эвакуации Ахматовой, Пастернак думал о ее переезде на Тверской бульвар, в квартиру Евгении Пастернак. Ахматова постоянно и близко встречалась с Евгенией Владимировной в Ташкенте. Ахматова по-человечески не одобряла дальнейшие связи Пастернака — они уводили его в тот стиль жизни и поведения, который она не принимала.

Пастернак умер, когда вокруг него склубилось зло, сгустились отрицательные, черные эмоции и силы, — он, по-человечески радостно-позитивный, не выдержал силы подлости и злобы. Ахматова скончалась на шесть лет позже, когда вокруг все нарастали эмоции положительные, светлые, дружелюбные. Она получила свою премию, хотя и не Нобелевскую, но все же — в Италии, с церемонией вручения, в торжественной и полной преклонения обстановке; ей была присвоена почетная докторская степень в Оксфорде, сопровождаемая всеми ритуалами особого уважения; она совершила поездки в Италию, Англию и Францию, встретилась еще раз, в самом конце жизни, с людьми, сыгравшими в ее жизни особую роль — с Исайей Берлином и Артуром Лурье, своими глазами увидела потрясающе схожую с ее обликом, почти портретную мозаику в лондонской Национальной галерее — работу Бориса Анрепа.

Она благословила Иосифа Бродского. Хотя Бродский, как и Пастернак, ценил ее меньше Цветаевой, — посвятил последней восхищенное, вдохновенное и филологически безупречно исполненное эссе. Где справедливость? Нет справедливости. И оценок тоже нет. Есть поэзия, стихи и судьбы. Они, как и вкусы поэтов, прихотливы.

«Дорогая Анна Андреевна!

И если не означу существа,

То все равно с ошибкой не расстанусь.

 <...> *Ваш Б.П.*»

Ахматова пережила Пастернака, уместив годы его жизни внутри лет своей. Он обмолвился, назвав в одном и том же письме ее и “сестрой”, и “старшей”. Стратегия ее жизни, линия поведения рядом с пастернаковской представляется незыблемо ровной. Она ничем и никогда не поступилась, выдержала самое тяжкое время, преследования и постановления ЦК без просьб о милости. Не просила сочувствия и снисхождения ни у кого, ни у соотечественников, ни у эмигрантов, ни у иностранцев. Революцию отвергла, так же как и отъезд. Выстояла в фактической нищете и бесправии, безденежье и непечатании. Без отклика, без звука, без эха. Без читателя. Без путешествий и пиров. Если она и вынуждена была написать стихи о Сталине, — то вырывая из лагерной гибели своего сына. Пастернак, повторю еще раз, сложил их искренне — или убедив себя в своей искренности.

У нее был нелегкий характер. Она никому, в отличие от Пастернака, не помогала. Но и помочь ничем не могла. Не было возможностей.

Она не была лишена определенной заносчивости, снобизма, отмечаемых мемуаристами.

К концу жизни она все более сосредотачивалась на своей славе, становилась все более монументальной и недоступной. Кому-то неприятной — даже хорошим поэтам, даже замечательным литературоведам. Кто-то из молодых и одаренных не очень-то приближался к Ахматовой — по записям Л.К. Чуковской и других свидетелей разбросаны глубоко пренебрежительные ее отзывы о молодых современниках-стихотворцах. Она перестала к себе допускать — уж как сложилось, так сложилось, и в Питере (Бродский и вокруг), и в Москве (Н.Н. Глен, Л. Большинцова, Ардовы и вокруг), и этого достаточно. Чем дальше, тем больше в ее облике и манере держаться и повелевать проступали авторитарные черты, не всем симпатичные, заставлявшие вспомнить о случае зеркального “отражения” диктаторских склонностей. Но ей, пережившей не один период “государственного остракизма и изоляции”30, такое поведение послужило малой компенсацией пережитых унижений.

Она действительно — тут Пастернак был прозорливо прав — ощущала себя *старшей сестрой*, выставляющей оценки. Пастернака она числила все-таки где-то помладше, не совсем прямо ответственным за свои слова и поступки, нуждающимся в интерпретации и поддержке, более слабым. Ведь тогда, когда Троцкий ее изничтожал, ставил “вне Октября” (“Литература и революция”, М., 1923), он принимал Пастернака для откровенных и весьма энтузиастических бесед. А когда “горячо любящий и преданный” Пастернак благодарил Сталина, она поняла, что впереди ждет гибель — если не ее, то чудесно “спасенных” Сталиным ее близких.

Но Ахматова, хотя и выставляла “оценки” Пастернаку за поведение и стихи, осознавала его гениальность.

Проявляя к Пастернаку-гению особую царственную милость, Ахматова не терпела “бунтов” — отсюда и “бой бабочек”, образ, кстати, распространимый и на их с Пастернаком взаимные колкости.

И, может быть, поэтому, каясь и скорбя после известия о его смерти, полученного ею в больнице, Ахматова написала два стихотворения. Одно — “Смерть поэта” с неудачной концовкой, какой-то советской по языку: “Но сразу стало тихо на планете, / Носящей имя скромное ... Земли” (1 июня 1960). А 11 июня она написала в продолжение — но через паузу — другое восьмистишие:

Словно дочка слепого Эдипа,

Муза к смерти провидца вела,

А одна сумасшедшая липа

В этом траурном мае цвела

Прямо против окна, где когда-то

Он поведал мне, что перед ним

Вьется путь золотой и крылатый,

Где он Вышнею волей храним.

Муза Пастернака приравнена Ахматовой к Антигоне, сопровождавшей исход ослепшего Эдипа из Фив. Неиссякаемый и “неповторимый” голос Пастернака продолжал звучать до самой смерти — и новые стихи, и пьеса “Слепая красавица” (здесь вероятна и ассоциативно-побудительная перекличка с образом *слепого* царя в восьмистишии Ахматовой).

Но есть в стихах и другой смысл.

Эдип не знал, что творит. И был наказан богами.

Поэт же уверял Ахматову, “поведал”, что он “Вышнею волей храним”. Богом.

Слово “провидец” тогда получает горький оттенок — не было “провидения”, не получилось легкости пути — “золотого и крылатого”. Вышло по-иному: безумец (“явно городской сумасшедший”). Нарушитель природных законов.

Расцвет вопреки. Сумасшедшая липа.

Вызов.

Гибель, а не просто смерть.

Это и хотела сказать напоследок Пастернаку — Ахматова.

1 Из нового цикла “Пастернак и другие”.

2 Л. Горнунг об Ахматовой. — В кн.: Анна Ахматова в записях Дувакина. М., 1999, с. 98 (далее — *Дувакин*).

3 Записные книжки Анны Ахматовой. Москва—Torino, 1966, с. 150 (далее — ЗК).

4 Э. Герштейн. Мемуары. М., 1998, с. 170, 166.

5 М.В. Вольпин об Ахматовой. — В кн.: *Дувакин*, с. 259–260.

6 Апокриф Ахматовой, близкий к реальности: “Бореньке было три года. Он спал. И вдруг проснулся у себя в кроватке, разбуженный дивной музыкой. Слушал, скучал и заплакал. Вылез из кровати и заглянул в соседнюю комнату: мать за роялем, а рядом сидит старик, слушает музыку и плачет. Это был Толстой. Молодец Борька — знал, когда проснуться, не правда ли?” — Л.К. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. М., 1997, ч. II, с. 47 (далее цит. по данному изд., в скобках том и страница).

7 Н. Королева. Анна Ахматова. Жизнь поэта. — В кн.: Анна Ахматова. Собрание сочинений в 4-х тт., М., 1998, т. 1, с. 497.

8 “В меня вселился дух какой-то другой женщины и я подшила себе юбку...”

9 Борис Пастернак. Из переписки с писателями. В кн.: Литературное наследство, т. 93. М., 1983, с. 654.

10 Там же, с. 652–653.

11 Н. Пунин. Мир светел любовью. Дневники. Письма. М., 2000, с. 287.

12 Г. Бордюгов. Сталинская интеллигенция. О некоторых смыслах и формах ее социального поведения. — “Кулиса НГ”, № 6, 2001, 6 апреля.

13 Б.Л. Пастернак. Собр. соч. в 5 тт., т. 5. М., 1992, сс. 254, 255.

14 Г. Бордюгов, цит. соч.

15 Разговор со Сталиным цитируется здесь по записи Л.К. Чуковской — см. Л.К. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой.

16 Э. Герштейн. О Пастернаке и об Ахматовой. В кн.: Э. Герштейн. Мемуары. СПб., 1998, сс. 392–393.

17 Докладная записка отдела культпросветработы ЦК ВКП(б) секретарям ЦК ВКП(б) — подписана А. Ангаровым и В. Кирпотиным. — В кн.: Власть и художественная интеллигенция. М., 1999, с. 321.

18 Там же, с. 372.

19 Там же, с. 410.

20 Там же, с. 456.

21 Там же, с. 462.

22 Евгений Борисович, сын Б.Л. Пастернака.

23 Н.А. Ольшевская, актриса, жена В.Е. Ардова.

24 О.Э. Мандельштам.

25 “...лягушки чуткий сон”!

26 Вяч.Вс. Иванов. Беседы с Анной Ахматовой. — “Воспоминания об Анне Ахматовой”; сс. 480–481.

27 М.К. Поливанов. Тайная свобода. — “Воспоминания о Пастернаке”, с. 507.

28 Существованья ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгенией Пастернак (дополненная письмами к Е.Б. Пастернаку и его воспоминаниями). М., 1998, с. 545.

29 В.М. Жирмунский назвал “Реквием” “ахматовским “Доктором Живаго” — см. Т. Жирмунская. Мы — счастливые люди. М., 1995, с. 132.

30 Н. Королева. Анна Ахматова. Жизнь поэта. — В кн.: А. Ахматова. Собр. соч. в 4-х тт. М., 1998, т. 1, с. 640.